

* * *

И понял он, что это — не война,
не сеча, понял он, не брань, не битва,
и этот вой — не песня, не молитва,
а прёт и прёт ликующее быдло
и все под ноль ровняет, как волна.
И понял он, что он — всему вина,
и что душа молчаньем сожжена,
и сердце непричастностью убито.
И понял он. И жизнь ему обрыдла.
И льдом сковало чёрный Иордан.
(А может, это — Лопань или Уды...)
И смертью жизнь предстала для иуды.
Но избавленный жребий не был дан.

* * *

Русский язык преткнётся, и наступит тотальный хутор.
И воцарится хам — в шароварах, с мобилой и ноутбуком.
Всучат ему гроссбух, священный, фатер его с гроссмуттер:
бошам иль бушам кланяйся, лишь не кацапам, сукам.

Русский язык пресечётся, а повыползет из трясин-болотин
отродье всяко, в злобе весёлой плясать, отребье.
Но нам ли искать подачек в глумливых рядах уродин!
Не привыкать — посидим на воде и хлебе.

Перешагни, пере- что хочешь, пере-
лети эти дрянь и мерзость,
ложью и ненавистью харкающее мычанье!
...Мы замолчим, ибо когда гнилое хайло отверзлось,
«достойно есть» только одно — молчанье.

Что толку твердить «не верю», как водится в режиссуре!
...Мы уйдём — так кот, полосатый амба, почти без звука
от убийц двуногих уходит зарослями Уссури,
рыжую с чёрным шерсть сокрывая между стеблей бамбука.

Водка «Тигровая» так же горька, как старка.
Ан не впервой, братишки, нам зависать над бездной.
Мы уйдем, как с острова Русский
— эскадра контр-адмирала Старка,
покидая Отчизну земную ради страны Небесной.

СОН ВОЕВОДЫ

Я Сумы проспал, я очнулся в Сумах,
визжавших, что ржавая гайка.
Упавшее сердце стучало впотьмах:
«Нэгайно, нэгайно, нэгайно»*.

Что мает, имаает меня на испуг,
играет в ночи, как нагайка?
Так — залпом, внезапно, немедленно, вдруг:
«Нэгайно, нэгайно, нэгайно».

Ахтырка, ах ты-то, чернея, как нефть, —
заржавела или заржала?
Как будто регочут, снося меня в неть, —
Ягайло, Скрыгайло, Жаржайло.

И скрежет, и режет, и гложет, и лязг,
и фары, и гвалт inferнальный.
Литвин, галичанин нахальный и лях
затеяли грай погребальный?

Три черта — три ражих, три рыжих черта
пролаяли, будто над прахом.
Но я не закончен! И вряд ли черта
отчерчена слухом и страхом.

Я русский бы выучил только за то б,
что в нём — благодатная сила,
за то, что Солоха, грызя Конотоп,
от русского — кукиш вкусила.

Не слышать, не видеть, не знать, не терпеть
нэгайной и наглой их воли.
Скажи, Богодухов, и Харьков, ответь:
доколе, доколе, доколе?

* Нэгайно (укр.) — немедленно.

Как будто спала пелена.
Спала, спала — и сразу спала...
Нам вождь сказал: «В натуре, падла,
я тоже бычу до хрена».
В натуре, спала пелена.

Оратор крымский говорил
стихом почти Экклезиаста:
«Я поздно встал. И понял — баста:
Я мать-державу разорил.
Я — ржав, как похоть педераста.

Вокруг — гниенье и распад,
и сам я есть продукт распада:
рапсод, взывающий из ада,
не видящий ворота в сад.
Мне пеня дар, и то — засада.

Когда бы тот, кто назидал
во тьме пророку: виждь и внемли,
ему слюну такую дал,
чтоб истину сглотнули кремли,
и всяк — свой смертный грех видал!»

Отец игумен у ворот
промолвил: «Повинимся, дети!
На сем еще не поздно свете
нам всем виниться». Народ,
избегнувший страниц в Завете,

вскричал, сумняшеся: «А в чём?..
За что нам — горечь обнищанья,
блатных вождей телевещанье —
то с кирпичом, то с калачом?
За что — уныние и тщанье?»

... Не в силах поглядеть окрест
непьяным — сколь возможно — взором
люди перебит напастным мором.
Ему даны — Голгофа, Крест,
а он все рылом — в сором, в сором.
И ест, и ест его, и ест.

Сугдея, Солдайя иль Сурож...
А ты говоришь мне: «Судак».
Какая ж ты всё-таки дура ж! —
слова не запомнишь никак.

Они тебе точно до фени,
а мне же всё грезится весь
в огне преподобный Парфений,
сожжённый татарами здесь

за то, что не дал им берёзы
валить в монастырском лесу.
Столетье — стоянье сквозь слёзы.
А я эту ношу — несу.

Теперь они памятник ставят
тем самым убийцам троим,
где факелом высился старец,
а после — истаял, как дым.

Ах, кореш, ну что ж ты всё куришь
и куришь — ни слова в ответ.
...Антоний, скажи им про Сурож,
а то у них памяти нет.

КАФЕ «ТРЕТИЙ РИМ».
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ЯЛТЕ

*Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.*

И. Бродский,
«Зимним вечером в Ялте», январь 1969

*Хотя повзростали из одёж
Над пропастью во ржи (при чём тут рожь)...
И всё же это пропасть — пропасть всё ж...*

А. Межиров,
«Прощание с Юшиным», 1971

I

Окраина имперьи. «Третій Рім»: мы спрятались в кафе — меж временами. Глядим на шторм и молча говорим о мучениках царственных. Над нами бело витает облако белым — четыре девы, мальчик в гюйсе* синем; царёвы дети дочерьми и сыном нам собственными грезятся — самим.

II

Пять ангелов — пять деток убиенных. От фото, что в Ливадии на стенах, глаз не отвести! И нового письма икона есть, пронзительна весьма, в Крестовоздвиженском дворцовом храме, куда и мы в смятении и сраме всё ж, бледные, ступали на порог — о тех скорбя, чью смерть предрек пророк.

III

Чья смерть страшна, у тех прекрасен лик. Но горяча растравленная рана. ...Анастасія, Ольга, Татіана, Марія, Алексій...

В случайный блик вмещён фонарь — на дамской зажигалке. Тебе — эспрессо, мне — с жасмином чай. И в поле зренья вносят невзначай пернатый трепет голуби и галки.

IV

Когда ты ищешь сигарету в пачке рукою правой — северной батрачки, подаренный серебрян перстенёк — на среднем пальце — кажет мне намёк на аристократичную фривольность. Суп луковый прощаем за сверхсольность, поскольку наблюдаем за стеклом мир внешний, нас хотящий на излом.

V

В надрыве, доходящем до истерик, —
безгрешна чайка с именем «мартын».
Безгрошным Ялта — краденый алтын.
Знай: грецкий «ялос» означает «берег».
Путины нет. На ялосе путана
стоит в бесплатной пустоте платана
январской, одинёшенька. Видать,
здесь витязей на брег не ходит рать.

VI

О! Видишь — в вышиванках малороссы.
Ты спрашиваешь, что они несут?
Скорей всего, херню. Твои вопросы
смур прикровенный из меня сосут.
Ни сейнера на рейде, ни фелюки.
Маяк, который нынче будет кость,
застрявшая в кривом зобу падлюки,
сквозь сумерки моргнул... При чём здесь злость?

VII

Ау, коньяк! Салют тебе, «Марсель»!
Донецкий бренд, неведомый досель,
гортань неприхотливую согреет.
Над маяком баклан упорный реет.
Хохол, грустя, «співає пісняка»;
ему бы вторил жид наверняка,
но вот кацап, гадюка, дню довлеет —
и не поёт, а мекает и блеет.

VIII

Да мы ж с тобой горазды песни петь!
К моим очкам твоя преклонна чёлка.
Давай же пожужжим, золотая пчёлка,
ужели звуки не раздвинут клеть?!
Соединяет мелос, а не плеть.
Хотя и в это верится всё реже.
Любившему сидеть на побережье
добавь пииту в невод или сеть:

IX

какой дивертисмент бы ни лабал ты,
иным пейзажем тешатся прибалты —
те братья, что всегда уходят в лес;
теперь у них вояки из СС
назначены героями народа.
Скажусь Козьмой, блюдущим политес:
«Леса, моря и горы суть природа;
се наша мать! С народами — и без».

X

Мы тоже мир. Спасаемый иль адский?
О нас ли плакал праведник Кронштадтский
в Ливадии, держа в руках главу
почившего о Бозе Государя**?
...Сопляк бухой кричит бармену: «Паря,
когда, в натуре, подадут халву?»
Прожектор чаёт правды, молча шаря;
и чайки почивают на плаву.

* Гюйс — здесь: большой воротник (с тремя белыми полосками) на форменке — матросской верхней суконной или полотняной рубаше.

** Имеется в виду Государь Император Александр III Александрович, скончавшийся 20 октября 1894 г. в Ливадийском дворце; знаменитый протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Иоанн Кронштадтский) специально прибыл к больному Императору из Санкт-Петербурга.

МЫ С СЕСТРИЦЕЙ КО СВЯТОМУ ФЕОДОСИЮ ХОДИЛИ...

Светлане Кековой

Мы с сестрицей ко святому Феодосию ходили,
мы с сестрицей у святаго Феодосья побывали:
мы с сестрицей страхом Божиим умы похолодили,
мы с сестрицей славой Божией сердца посогревали.

Мы, веселые, на паперть, мостовую выходили,
с Крестным ходом — со Печерской Богородицею Свенской,
с Феодосьем, и спивали в поднебесье «дили-дили»
колокольцы, оль, над Киевскою Лаврою Успенской!

Оттого ль мы увидали переливистые круги,
что на небо поглядели, благодатные, ликуя?
Подарил игумен радость всем радевшим вон какую —
светозарная для грешников зажегши радуг дуги!

Ой, сестрицынька, ты помнишь ли те дуги, солнцесветы,
те восторг, и синь-услладу, диво-полымя с востока!
Как младенцы мы смеялись, позабыв про наши леты,
и водицей умывались, золотою, из истока.

Так и жить бы, светик мой, моя отрада-голубица,
только глянь-ко, что за толпы у Святой Софии вьются?
Что за сходка непотребная толчётся и клубится,
и камлання над Крещатиком кричащим раздаются?

У, как тля зашла в ничтожная в столице православной!
Ржавь — бесов своих — сзывает самозванцем безобразным!
Знать, такое попущенье, значит, биться нам в неравной,
значит, выпало и нам стоять стоянием несправным.

Одолеем вовкулаку, порасскажем правды-были —
как с тобою мы небёсы возлюбили, обнимая...
Дай же, Боже, быть когда-нибудь такими, как мы были
в день особенный, по-новому шестнадцатого мая.

ИЗ «ВЕНКА АННЕ»

Когда дохнёт скаженная гроза,
Когда вражда пятой раздавит лиру
И Люцифер опять пройдет по миру,
На пытку человекa волоча,

И вздыбятcя из мрака сволоча,
И сотворят – из мрака же – кумира,
И в детский сад войдет с улыбкой Ирод,
Стамеску острую спрятавши в букет,

Молю Того, Кто может дать охрану,
Чтоб даровал тебе не мышцу бранну,
А Свой покров – от крови, жертв, невзгод.

Так просим все, моля мольбой горячей:
И тот ацтек, и кельт, и этот гот,
И я — в своем родительстве незрячем.

ВОЛЧИЦА

Марине Кудимовой

Когда пространство ополчится
и горечь претворится в ночь,
грядет тамбовская волчица —
одна — товарищу помочь.

И на рассерженны просторы,
где дух возмездья не зачах,
но искорёженны которы,
глядит с решимостью в очах.

Гнетёт серебряные брови
и дыбит огненную шерсть,
и слово, полное любви,
в ней пробуждается как весть.

«Почто, безпечный мой товарищ,
ты был расслаблен, вял и снул!
Покуда тварь не отоваришь,
не размыкай железных скул!

Сжимай — до вражьего издоха —
любви победные клыки!»
Кровава хвоя эпоха,
но лапы верные — легки.

